Глобальное и локальное в социальной истории: реальные взаимосвязи и концептуальные противоречия

Рецензия на книгу: Конрад С. Что такое глобальная история? / Пер. с англ. А. Степанова; науч. ред. и предисл. А. Семенова. М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 312 с.

И.В. Троцук

Ирина Владимировна Троцук, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 119571, Москва, проспект Вернадского, 82. E-mail: trocuk@ranepa.ru

DOI: 10.22394/2500-1809-2019-4-2-187-199

Согласно аннотации, книга С. Конрада призвана показать, помогает ли глобальная оптика понять локальные события и процессы и преодолеть ограничения национальной истории, каким политическим и культурным потенциалом обладает глобальная история, предоставляя право голоса тем, кто лишился его в ходе глобализации и вследствие эпистемологического доминирования европейского взгляда на мир, и каковы опасности нерефлексивного применения глобально-исторического подхода. Решающая подобные задачи книга явно будет интересна не только историкам, потому что, по сути, рассуждает о возможности создания некоего универсального дискурса для описания логики исторического развития разных общественных систем. В качестве примера необходимости анализа эвристического потенциала глобальных/универсальных категорий можно рассмотреть понятие «крестьянин». В последние годы на научных мероприятиях в России побывали многие наши коллеги (крестьяноведы и сельские социологи) из Индии, Бразилии, Китая и других стран, которые, следуя устойчивому историческому дискурсу, считают нашу страну традиционно крестьянской, в том числе потому, что российское правительство активно позиционирует ее на международной арене как мощного сельскохозяйственного производителя. Однако когда мы берем их в поездки по сельским регионам и показываем отечественные сельскохозяйственные предприятия, наши коллеги с грустью признают, что крестьянства

в российском обществе сегодня не существует, и в этом принципиальное отличие нашей страны от многих регионов мира, где крестьянство (в традиционном смысле слова и с полным или частичным набором «правильных» эмпирических индикаторов) легко обнаруживается вблизи даже крупнейших городских агломераций.

Данный пример — лишь одна из возможных иллюстраций того вопроса, который имплицитно задается в книге Конрада: насколько в принципе мы можем говорить об общей глобальной истории, основанной на неких универсальных типологических категориях? И в этом несомненное достоинство книги: она заставляет задуматься о том, столь ли безупречны с аналитической точки зрения те исследовательские инструменты, которые мы столь уверенно используем в том числе для сопоставления разных социально-экономических и политических систем и формулировки далеко идущих теоретических выводов и практических рекомендаций.

Безусловно, приведенный выше вопрос не представлен в книге как основной или прямо заданный автором — скорее он считывается из текста читателем — представителем социальных или гуманитарных наук, но вряд ли историком, который будет солидарен с научным редактором книги: в предисловии он представляет ее как попытку разрешить вопрос, как сегодня следует трактовать глобальную историю — как окончательный синтез научного исторического знания (хотя полноценный синтез здесь вряд ли возможен) или как продолжение диалога разных исторических направлений (сочетание различных методологических подходов). Он также отмечает, что российскому читателю с историческим образованием книга может показаться лишенной новизны, поскольку «наследие германской университетской системы и советская марксистская модель изучения мировой экономики и политики (жесткое разделение на отечественную и всеобщую историю) сделали проект глобальной истории иллюзорно узнаваемым и знакомым разным поколениям историков и интеллектуалов в России». Однако Конрад представляет глобальную историю иначе — как «относительно новое поле исторического знания, которое противопоставляет себя парадигме всеобщей и мировой истории» (с. 7) и возникло в 2000-е годы под влиянием затухания эйфории от идеи «конца истории», признания процессов глобализации в качестве универсального и неоспоримого механизма развития современного мира, а также кризиса нормативной концепции капиталистической и либеральной глобализации (неравномерность развития мира, периодические кризисы капиталистической системы, частые военные конфликты, политизированная религия и пр.). Иными словами, глобальная история «направлена на преодоление родовой травмы современной исторической дисциплины — изоляционизма национальной истории и методологического национализма (в российском варианте [хотя вряд ли только в нем] — это государственническая версия российской истории)» (с. 9).

Структурно книга состоит из введения и девяти глав, однако нет смысла тезисно излагать содержание каждой из них, поэтому обозначим лишь основные линии рассуждений автора. Прежде всего это реконструкция «биографии» глобальной/мировой истории, которая сегодня переживает настоящий бум, обусловленный в первую очередь процессами глобализации («реалиями опутанного сетями глобализированного мира»), но также концом холодной войны, событиями 11 сентября 2001 года, требованиями менее дискриминационного и узконационалистического подхода к прошлому, изменениями социокультурного облика научной среды, трансформациями в социологии знания, революцией в средствах массовой коммуникации, всеобщим ростом мобильности и т.д. (с. 17-18). Вот уже несколько десятилетий глобальная история является наиболее быстро развивающейся исторической дисциплиной, поскольку историки «имеют дело с большим количеством соперничающих между собой нарративов... все больше используют язык сетей и узловых точек вместо старой “территориальной” логики. Писать историю в XXI столетии означает совсем не то же самое, что это значило раньше» (с. 18).

Признаваемая Конрадом сложность институционализации глобальной истории как особой исторической дисциплины состоит в том, что данное понятие обозначает одновременно и предмет исследования (масштаб исторического процесса), т.е. речь может идти об очень древней хронологии, и определенный научный подход, сложившийся относительно недавно (скажем, в истории рабства его интересуют не столько социальная, гендерная или экономическая подоплека, сколько сравнение с другими формами порабощения, последствия работорговли для разных государств и континентов, формирование пространства «Черной Атлантики» и т.д.). Соответственно, «подлинно глобальное сознание начало формироваться в нескольких евразийских регионах в начале модерного периода, в эпоху европейской гегемонии появился общий нарратив материального прогресса и национального развития, и написание истории мира в определенном смысле столь же древнее занятие, как и сама историческая наука» (с. 35). Все виднейшие историки прошлого, несмотря на особые историографические традиции разных регионов, писали историю собственной ойкумены, принимая во внимание и «мир» вокруг нее (соседние территории), однако главной их целью было не объяснение действительности, а «прославление сущности собственного общества, уникальная культурная идентичность... которого была для них чем-то самоочевидным» (с. 36). Прошлое неизменно «осмыслялось и оценивалось в соответствии с критериями морального и политического кодекса ценностей того общества, к которому принадлежал историк, понятие “мир” не значило “наша общая планета”, как сегодня, но “подразумевало только тот мир, который имел значение”... и главные установки ойкуменической историографии в основном сохранялись вплоть до XIX века» (с. 39).

Речь идет не об отсутствии всемирно-исторических моделей как таковых, а о том, что они не стали мейнстримом исторической дисциплины, поскольку часто создавались историками-любителями без официальных должностей (и не только в Европе) и потому оставались вне поля зрения ученых в последующие эпохи. Только со второй половины XVIII века, по мере расширения глобальных торговых связей и имперских структур, стали появляться подробные и эмпирически детализированные обзоры всемирной истории, призванные описать все страны, о которых было хоть что-то известно (например, энциклопедичная «Всеобщая история», выходившая в Лондоне с 1736 по 1765 год и представлявшая собой «гигантскую (65 томов) компиляцию по методу простого “нанизывания фактов”» — с. 42). Расцвет жанра всемирной и всеобщей истории пришелся на рубеж XVIII и XIX веков, когда с позиций европейской культуры были созданы панорамные картины социальных институтов и этапов развития ряда государственных образований в разных уголках земного шара, привязанные к понятию «цивилизация».

XIX столетие ознаменовало фундаментальное изменение во взгляде на прошлое — европейское (а затем североамериканское) господство унифицировало подходы и методологические стандарты исторических повествований, ознаменовав «триумф вестернизации как... просвещенного и рационального взгляда на историю и явный прогресс по сравнению с мифическими и религиозными подходами к прошлому» (с. 44). Повсеместно заимствовались не только ключевые понятия из европейских исторических нарративов и европейская история как универсальный образец развития, но и институциональная структура европейской исторической науки (факультеты, журналы, учебники). Такая европеизация стандартов истории была реакцией на меняющийся геополитический баланс сил — тенденцию интеграции мира под европейской гегемонией. Однако нельзя объяснять «повсеместное утверждение единообразно понимаемой всемирной истории в конце XIX — начале XX века... просто переносом европейских интеллектуальных ценностей... нарративы историков и социальных мыслителей за пределами Европы... не были простыми слепками, но часто соответствовали реформаторским интересам местных авторов и их собственному пониманию реалий глобальных перемен» (с. 49). Кроме того, евроцентричный нарратив подвергался критике как с позиций системного подхода (например, марксисты подчеркивали роль связей и взаимодействий в социальном развитии в мировом масштабе), так и цивилизационного анализа (так, ученые арабского и исламского мира отстаивали право на иную, незападную, модель социальной истории).

«Статус мировой истории внутри дисциплины в целом оставался неопределенным в большинстве стран вплоть до 1990-х годов... учитывая, что послевоенный период повсеместно оказался временем национального строительства... особенно для многих бывших колоний... которые использовали европейское прошлое как мери-

ло для оценки собственной истории» (с. 53). Важную роль в становлении всемирной истории в XX веке сыграла и цивилизационная концепция А. Тойнби, и теория модернизации У. Макнила, и расцвет марксистских идей после 1945 года (они часто требовали подогнать реальность под теоретические выкладки), и мир-системная теория И. Валлерстайна, возникшая в 1970-е годы (несмотря на доминирование евроцентричной интерпретации, говорила о системных процессах в глобальном контексте, а не об абстрактной логике развития), а также критикующие подобные макроисторические и евроцентричные нарративы «микроистории», «лингвистический поворот», развитие страноведения, формирование разнообразных «постколониальных» идеологий, теория зависимого развития и «исследования угнетенных» (своего рода «история снизу», зародившаяся в Индии, но с опорой на международные теоретические модели).

В итоге к концу XX века «работы по всемирной истории стали весьма диверсифицированными, хотя в большинстве стран и оставались маргинальными... Глобальная история была — и остается — особым подходом, ...она формируется условиями места и времени, в которых возникает... Глобальная история сегодня отличается от своих предшественниц во многих важных отношениях, и наиболее фундаментальное из них — это акцент на сопряжениях и интеграции, а также решимость выйти за пределы господствовавших ранее понятий, в том числе концептов дискретных цивилизаций, распространения европейских ценностей и телеологических нарративов» (с. 57-58). Сегодня «глобальная история — это ракурс, который высвечивает определенные грани феномена; при этом другие аспекты отступают на второй план... Цель состоит не в том, чтобы написать тотальную историю планеты... а в рассказе об ограниченных пространствах, но с учетом глобальных связей и общих структурных условий... Глобальная история, следовательно, не является синонимом макроистории. Наиболее интересные вопросы часто возникают на пересечении глобальных процессов с их локальными воплощениями» (с. 29-30).

Конрад убежден, что социальные и гуманитарные науки сегодня не в состоянии адекватно ставить вопросы и давать ответы о реалиях современного мира, поскольку не способны к полноценному системному пониманию мировых процессов по причине двух «родовых травм»: во-первых, рождение этих наук было связано с национальным государством, т.е. оно стало их предметом как некое территориальное единство и определило их традиционный «методологический национализм» (история стала прежде всего национальной историей); во-вторых, новые дисциплины были глубоко евроцентричны — рассматривали Европу как главную движущую силу мировой истории, представляли европейскую историю как универсально-всеобщую модель развития, превратили понятия, отражающие сугубо европейский опыт (нация, революция, общество

и прогресс) в универсалистские концепты. Глобальная история выступает как «ревизионистский подход», который бросает вызов национальной истории, пытается изменить методологию, организацию и институциональный порядок исторической науки, призывает историков к более широкому и менее фрагментированному видению мира, чтобы понять конституирующие его многообразные взаимодействия и взаимозависимости.

Конрад признает, насколько сложно реализуем проект глобальной истории как дисциплины, объект которой — взаимосвязанный мир, а предмет — обмены вещей, людей, идей и институций в глобальных контекстах, учитывая наличие иных проектов: это компаративистика (первоначально сопоставительный анализ государственности, революций и социальных перемен, сегодня — компаративная оптика, выводящая нас за пределы отдельных случаев, но неизбежно гомогенизирующая предметы, слаживающая их внутренние различия, тяготеющая к телеологии, стандартизации и мнимой автономии объектов, а потому порождающая нарративы уникальности/исключительности); транснациональная история (изучает текучие и взаимно переплетенные аспекты трансграничных процессов, каким образом страна вписана в мировой контекст и как он на нее влияет, однако лишь указывает на глобальное, не изучая его вызовы и последствия); мир-системная теория (рассматривает большие региональные объединения и «системы», считая меньшие единицы их производными, часто впадает в экономический редукционизм на основе абстрактной трактовки капитализма, априори предполагает существование системного контекста, а не конструирует его из реалий, не свободна от элементов евроцентризма); постколониальные исследования (оценивают сложности взаимодействия через культурные границы на основе посылки, что современный мир вырос из колониального порядка, который определил не только формы господства и экономической эксплуатации, но и категории/уровни/режимы знания; исследуют динамику транскультурного обмена, создают транснациональную историографию, критикуют теорию модернизации и категорически исключают риторику «глобального» как дискурс империалистического доминирования); теория множественных модерностей (новый вариант цивилизационного дискурса, возникший в 1990-е годы и преодолевший телеологичность классической теории модернизации, т.е. признавший фундаментальное нормативное равенство разных траекторий развития культур и обществ; критикуется за отсутствие четкости и ограниченность сферой культуры, трактовку обществ как герметически закрытых и гомогенных цивилизаций и игнорирование истории их взаимодействий) и т.п. Все эти проекты, казалось бы, выдвигают на первый план особые тематики, но на самом деле обладают массой методологических и концептуальных сходств и общей целью — «дать целостное объяснение глобальных процессов и динамических сдвигов... изучать исторические

проблемы, не ограничивая себя априори пределами национальных государств, империй или других политических образований» (с. 59-60). Конрад подчеркивает, что всемирную историю, постколониализм, «множественные модерности» и глобальную историю «нельзя жестко разграничить: во многих аспектах они пересекаются... каждый представляет собой некий идеальный тип» (с. 104).

Глобальная история призвана преодолеть ограничения перечисленных подходов: например, в отличие от компаративистики, она не проводит (макро)сравнения без обобщений и системных контекстов, избегает нормативности и телеологии, выходит за рамки бинарных сопоставлений, а «когда сравниваемые объекты погружены в общую глобальную ситуацию, сравнения сами становятся частью глобального-исторического подхода» (с. 67); в отличие от транснациональной истории, считает глобальное не «фоном, на котором можно продемонстрировать национальное, а контекстом, который позволяет систематически ставить вопросы о причинах и следствиях» (с. 71); выступает как ответ на тупик, в который зашли постколониальные исследования в начале 1990-х годов под влиянием критики их избыточной культурологичности, игнорирования политических и экономических вопросов, зараженности подспудным национализмом, использования квазинативистских концептов и опоры на абстрактное понятие колониализма (с. 80-82); отталкивается от антиевроцентричной повестки «множественных модерностей», но не сводит историю современности к набору «аналогичных, самосозидающихся цивилизаций, а уделяет внимание истории сопряжений и системной интеграции мира... крупным структурам и асимметрии власти» (с. 87).

Конрад делает вывод, что в нынешних условиях «господства эклектизма и теоретической неопределенности» бессмысленно говорить о методологической особенности глобальной истории — следует развести три ее разновидности по типам реакции на вызовы «глобального» (с. 23-28): «история всего» — попытки широкомасштабного синтеза событий глобальной реальности в определенный период («биографии» отдельного года, десятилетия или столетия) или применение некоей концепции ко всей истории человечества (истории империй, королевских династий, чая и кофе, торговли, религии и т.д.); история взаимосвязей обществ, наций и цивилизаций на протяжении веков (истории миграций, перемещений идей и товарообмена на больших расстояниях); узкая версия глобальной истории, основанная на понятии интеграции как совокупности регулярных и устойчивых взаимообменов, определивших становление конкретных стран, — «самый многообещающий подход для глобальных историков, желающих идти дальше простых символических жестов к истинному пониманию взаимосвязей» (с. 23). В отличие от всемирных историй (теории модернизации, марксизм, цивилизационный подход и пр.), которые обычно занимаются макропроблемами и оперируют широкомасштабными сравнениями обществ

или цивилизаций, связанных евроцентричной диффузией от центра к периферии в модерный период, глобальный подход исследует текучие и неустойчивые сети и взаимодействия в контексте структурных трансформаций в глобальном масштабе.

Для этого глобальная история выработала методологию, которая обладает следующими особенностями (с. 91-94): глобальные историки не занимаются только макроперспективами, а изучают конкретные проблемы и явления в широких/глобальных контекстах и экспериментируют с альтернативными понятиями пространства (не национальные государства, империи и цивилизации, а конкретные сообщества или иные аналитические единицы); работы по глобальной истории реляционны, построены на изучении отношений, т.е. рассматривают все исторические единицы через их взаимоотношения с другими единицами, а потому не интересуются эндогенными изменениями и отказываются от телеологии, свойственной теории модернизации (развитие, отсталость и др.); глобально-исторический подход выдвигает на первый план синхронию, не отказываясь при этом от традиционного изучения проблем непрерывности или зависимости выбранного пути развития; и, наконец, глобальные историки осознают проблему евроцентризма и призывают иначе осмыслить глобальное прошлое — через понятия широкомасштабной интеграции и каузации, т.е. «эффективные глобальные истории должны учитывать системное измерение прошлого и структурный характер социальных перемен» (с. 97).

Безусловно, как любой научный подход, глобальная история имеет ограничения, обусловленные в первую очередь ее основным исследовательским акцентом — на глобальной интеграции. Конрад справедливо отмечает, что проблема не в самом данном фокусе, а в порожденных им вопросах: можно ли считать глобальную историю синонимом истории глобализации — нет, потому что история глобализации — лишь «поджанр глобальной истории», а глобализация (трактовки ее этапов и источников различны, а сам термин до сих пор размыт и не всегда позволяет отличить глобализацию от «простых» исторических связей) является не предметом, а контекстом глобального подхода (с. 121-122). Или: «сохранится ли в будущем понятие глобализации в качестве полезного для историков аналитического инструмента — большой вопрос. Среди ученых распространено мнение, что более специфичные, тоньше описывающие исторический контекст понятия могут принести более плодотворные результаты — даже если мы признаем необходимость периодизировать прошлое не только локально и регионально, но и в глобальном масштабе... Временные срезы — более подходящие темпоральные единицы для изучения многих тем, чем представление о неумолимой поступи глобализации» (с. 132-133).

Второй важный для глобальной истории вопрос — критерии и характеристики той интеграции, о которой она постоянно говорит, а также границы рассматриваемого интегрированного целого. Фак-

тически мы признаем наличие «у интеграции множества причин, проявлений и последствий, а также в определенном смысле множества хронологий — более и менее протяженных... и пяти доминирующих локомотивов перемен/факторов: технология (средства массовой коммуникации, транспорт, вооружения), империя (устойчивость полиэтничных экспансионистских государств), экономика (торговля и способы производства), культура (религии, идеологии и космологии), биология и экология (эпидемии, развитие сельского хозяйства и т.д.)» (с. 135) и человеческий фактор (с. 144). «Задача глобальной истории как подхода состоит в том, чтобы понять отношения различных причинностей, действующих в больших масштабах... То, что мы обычно называем "глобализацией", было... результатом действия сложного комплекса взаимосвязанных и налагающихся друг на друга структур, каждая из которых подчинялась собственной динамике» (с. 142-143). Таким образом, глобально-исторический подход может быть применен к любому региону и периоду прошлого при условии, что мы признаем разную силу и масштабы интеграционных процессов в разные исторические эпохи, а также что не все темы в равной мере подходят для глобальной интерпретации (автор утверждает, что в ряде случаев можно обойтись и «традиционным сопоставлением», т.е. не ставить вопрос о причинности в глобальном масштабе, что заставляет читателя вновь задаться вопросом о понятийных и эвристических границах глобальной истории).

Третий принципиальный для глобальной истории вопрос — масштаба/пространства как полноценной теоретической категории, т.е. как «локализуется глобальное» (с. 151): на примере работорговли и экологической истории Конрад показывает, что глобально-исторический подход не отказывается исследовать историю торговли, империй, миграции, религии и пр., но предпочитает фокусироваться не на дискретных национальных нарративах, а на связях и взаимодействиях, «переключаясь» между разными масштабами и территориями. Автор рассматривает четыре стратегии переосмысления глобального пространства (с. 153-173): конструирование широких транснациональных пространств, занимающих промежуточное положение между местными условиями и глобальными констелляциями (великие океаны или крупные регионы, объединенные под общим названием, например, Средиземноморье); парадигма «следования», преодолевающая территориальную ограниченность (например, глобальная история труда, описывающая мобильность разных типов работников, или история сахара, хлопка, фарфора, стекла и т.д.); сетевой подход (именно сети делали мир связанным — торговые пути, цепные миграции, трансграничные финансовые инвестиции); создание микроистории глобального — «исследования, в которых анализируется какой-то один конкретный объект (отдельная личность или небольшая группа, город или его район) со всеми его отличительными пространственными и социальными свойствами, только помещенный в глобальные контексты» (с. 168-169).

Четвертый вопрос глобально-исторического подхода — какое значение имеет категория времени, если он работает преимущественно с пространством и оспаривает приоритет темпоральных метафор и трактовку истории как большой хронометрии. Признавая наличие в исторических описаниях двух крайних временны*ы*х точек — изучение всей человеческой истории в рамках одной концептуальной модели (например, глубинная и большая истории) и акцент на синхронии (анализ одновременных географически удаленных событий) — Конрад подчеркивает, что «разные концепции времени подходят для разных вопросов и формируют определенные ответы... Однако большинство исследований частных случаев заметно выигрывает, если ученые рассматривают проблемы в различных временных масштабах (на разных уровнях темпоральных "строительных лесов")» (с. 184). Соответственно, «не существует предпочтительных временны*ы*х рамок, равно пригодных для любого исторического вопроса — так же как не существует идеально подходящей для любой темы пространственной категории. Каждая проблема требует своего темпорального и пространственного порядка... и выбор той или иной шкалы глобальной истории означает необходимость принять критическое решение о том, что и кого считать первичными силами и деятелями истории (а также что считать необходимостью и случайностью)» (с. 200).

Пятый вопрос, по сути, сводится к тому, кто пишет глобальную историю, вернее, насколько следует верить заявлениям, что глобальный подход обеспечивает неангажированную объективность историка и транскультурную версию истории. По мнению Конрада, подобные надежды иллюзорны, поскольку «глобальные истории не пишутся в вакууме, даже если историки описывают историю всего мира, они неизбежно делают это из определенной локации и в определенное время... большинство описаний истории мира базируется на определенных аксиоматических посылках, ценностных суждениях и иерархиях смыслов» (с. 207). Автор разрабатывает методологию критики «центризмов» (евроцентризма, антиевроцентричных подходов — синоцентризма и нативистских цивилизационных подходов) и обосновывает невозможность «нейтральной архимедовой точки обозрения», т.е. утверждает неизбежную позиционированность любого исторического источника и перспективы любого историка (зависимость от локальных, национальных и региональных факторов, государственных институций и коллективной памяти). Однако Конрад предупреждает и об опасностях увлечения позиционированностью и требует отличать неизбежные смещения научного поиска от продуманных акцентов политизированной версии истории: «выявление культурной и социальной принадлежности историка помогает понять его идеологическую позицию, влияющую на интерпретации прошлого, однако радикально альтернативные версии — подход к истории с точки зрения австралийских аборигенов, американских индейцев или китайцев — могут

легко превратиться в новые формы центризма, которые сделают диалог поверх границ таких нативистских эпистемологий трудным, если не невозможным» (с. 221).

Конрад разрабатывает конструктивистскую версию глобальной истории в двойном «измерении»: и историк выбирает разные масштабы описания явлений (глобальный, региональный или локальный), чтобы сконструировать особую реальность прошлого согласно своим представлениям об изучаемом предмете («уплощая» мир своей терминологией); и исторические субъекты (социалисты и анархисты, феминистки и представители религиозных меньшинств, члены диаспор и активисты антиколониальных движений) конструируют собственные жизненные миры как многоуровневые и детерминированные разными контекстами прошлого и настоящего (и соответствующими дискурсами). Для понимания сконструированности наших знаний и представлений «историки должны реконструировать условия, в которых ныне существующие понятия появились и были приняты всем миром, равно как и анализировать асимметрии власти, которые были причастны к их созданию. Ключевые понятия завоевывают всемирное признание отнюдь не благодаря своему внутреннему универсализму; часто... их господство достигается за счет насилия, подавления и вытеснения альтернатив... В то же время следует с осторожностью относиться к призывам выбросить за борт инструменты социальных наук вместе с их универсализирующими претензиями... Универсально применимые термины могут иметь свои недостатки, но в целом их способность облегчать диалог через границы все-таки перевешивают преимущества более фрагментированного словаря... И многие акторы по всему миру уже приспособили язык социальных наук к своим целям и “регионализировали” его» (с. 252-254).

И, наконец, последний вопрос книги — для кого пишется глобальная история. Конрад полагает, что обычный ответ на этот вопрос характеризует глобальную историю как «космополитическое предприятие, по сути инклюзивный проект как в географическом, так и в нормативном отношении» (с. 258), т.е. глобальная история утопически обещает превратить всех нас в граждан мира, показав и описав глобальные интеграционные процессы, хотя на практике такая самоидентификация редко встречается (с. 259). Кроме того, глобальная история выполняет просветительскую функцию — объясняет и проблематизирует политические нарративы, демонстрируя телеологическую риторику глобализации, опровергая утверждения о «естественности» глобальных структур и процессов, показывая не только выгоды, но и издержки глобальной интеграции, раскрывая ограниченность интерналистских объяснений, утверждающих полную ответственность индивидов и групп за свое счастье или несчастье в условиях, сформированных геополитическими структурами и иерархией властных отношений (с. 266-267).

Следует признать, что Конрад успешно отбивает два основных критических выпада в адрес глобальной истории: с одной стороны,

ее обвиняют в избыточном макроподходе, в котором теряется человек как исторический субъект с собственными представлениями и жизненным опытом, — автор убедительно показывает возможности сочетания микроистории с глобально-историческим подходом: «глобальные структуры в той же мере сформированы человеческой деятельностью, в какой сама эта деятельность формируется глобальными структурами... но они ни в коей мере не детерминируют выбор как отдельных личностей, так и отдельных сообществ» (с. 206). С другой стороны, глобальную историю критикуют за чрезмерную увлеченность поиском связей и заимствований — на это Конрад отвечает требованием не просто описывать взаимовлияния, но оценивать их регулярность и устойчивость, выявлять их причины и воздействие на протекание исторических процессов (важны не только интерпретации, но и причинные объяснения, сколь бы сложными они ни были). Автор признает ограничения глобальной истории как одного из множества возможных подходов: это «не панацея от всех бед и не отмычка от всех дверей; далеко не всякий исследовательский проект требует подобного ракурса: часто для решения задачи ключевую роль играет отнюдь не глобальный контекст и нельзя утверждать, что все связано со всем» (с. 33). Более того, он называет еще четыре проблемы, с которыми сталкиваются глобальные историки, если преувеличивают значение глобальных контекстов (с. 279-288): стирание специфической логики (упрощение) прошлого под давлением «глобального» (богатство реальной жизни сводится к метафорам глобальности, порождая одномерный и поверхностный образ прошлого); фетишизация связанности (например, утопии безграничной мобильности товаров, людей и идей); игнорирование роли власти — за понятием глобального скрываются социальные иерархии и асимметрии; нивелирование реальности в поисках объединяющих все факты концепций (например, сверхконтекстуализация — предпочтение глобальных факторов конкретным деятелям — ведет к релятивизации проблемы ответственности и экстернализации вопроса вины) и т.д.

Даже с учетом обоснованных в книге возможностей и признанных ограничений глобальная история как особая исследовательская «оптика» (с «риторикой» и «методологией» таких проблем не возникает) остается весьма сложной для практической реализации, поскольку каждый историк (человек) неизбежно «врастает» в социокультурно детерминированный набор дискурсов своего общества, и ему крайне сложно настолько дистанцироваться от своей «территориальности и локальности», чтобы избежать «методологического национализма» (и евроцентризма, если он является «продуктом» европейского общества), особенно когда сама глобальная история призывает лишь корректно задавать вопросы на пересечении глобальных процессов с их локальными воплощениями, но не предлагает четких критериев того, каковы должны быть масштабы и количество глобальных контекстов и локальных явлений.

Безусловно, глобально-исторический анализ — поразительно увлекательное, но в то же время трудоемкое и даже сомнительное занятие (по причине отсутствия однозначного его определения), что, впрочем, вряд ли остановит заинтересованного исследователя, особенно учитывая, сколь внушительный список убедительных примеров глобально-исторического поиска Конрад представил в своей работе и сколь самокритично он ее оценивает: «если принять во внимание скорость, с которой меняется область глобальной истории, легко понять, что подведение научных итогов в ней в любом случае получилось бы всего лишь моментальным снимком» (с. 293).

Global and local in social history: Real relationships and conceptual contradictions
Book Review: Conrad S. (2018) What is Global History? Transl. from English by A. Stepanov; scientific editing and foreword by A. Semenov. Moscow: New Literary Review, 312 p.

Irina V. Trotsuk, DSc (Sociology), Senior Researcher, Center for Agrarian Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Professor, Sociology Chair, RUDN University. Prosp. Vernadskogo, 82, Moscow, Russian Federation, 119571. E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru